

**ФЕДОР
ГЛАДКОВ**



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ФЕДОР ГЛАДКОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

**В ВОСЬМИ
ТОМАХ**

**Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958**

ФЕДОР ГЛАДКОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ПЕРВЫЙ

ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ
(1901—1929)

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

Примечания В. А. Красильникова

Оформление художника

Б. Шварца

АВТОБИОГРАФИЯ

Я появился на свет в 1883 году ранним летом 21 июня н. с. в глухой деревне Чернавке Саратовской губернии (теперь эти места — Пензенской обл.). Семья была патриархальная, старообрядческая, поморского согласия. Дед был хоть и маленький старичок, но держал всех в большой строгости: он никогда не ласкал детей и не замечал их. Но в праздники, когда приезжали дочери в гости, выданные замуж в соседние деревни, и ласкали меня, ребенка, он вдруг делал под веселую руку грозное лицо, тряс седой бородой и кричал: «А ну-ка, дай его сюда, я его выпорю. Кланяйся в ноги, разбойник!» И я замирал от ужаса. Отец тоже боялся деда, а мать, молоденькая, похожая на девочку, дрожала перед ним и немела от страха. Порядки в семье были скитские, и мне было мучительно стоять часами с лестовкой перед иконами вместе со взрослыми и отбивать земные поклоны. Особенно тяжела была эта пытка в дни постов.

Я рано стал работать по двору и в поле — чистил навоз, боронил, сгребал сено, помогал молотить. Рано научился читать и писать. Старообрядцы считали праведным делом учить детей грамоте, чтобы они могли читать Псалтырь, жития святых и распевать «гласы».

Женщины в деревне были наподобие рабочего скота: их били смертным боем, истязали, и в деревне

было много кликуш. Моя мать в двадцать лет уже страдала тяжелой нервной болезнью.

После отмены крепостного права наша деревня оказалась малоземельной: на мужскую душу приходилось по «осьмине» ($\frac{1}{8}$ десятины). Так как жить в деревне было «не причем», мужики уходили на заработки. Покидали деревню иногда целыми семьями, и избы стояли с заколоченными окнами и дверями.

В детстве я много плакал: больше всего страдал за мать, которую бил отец. Она лежала вся в синяках, с распухшим лицом и судорожно дрожала. Били и меня за то, что я играл, за то, что плакал около матери, за то, что не мог поднять лопату с навозом на телегу.

Бабушка была рыхлая, добрая, и голос у нее был плачущий, скорбный. Она хорошо пела песни и умела рассказывать сказки и предания так, как будто сама все видела и пережила. Таких преданий и сказок я потом никогда не читал и не слышал, и мне кажется, что она их создавала сама. И мать и бабушка очень хорошо пели песни, и песни эти нередко переходили в плач, в вопление.

Деревню и ее околицу я очень любил. И сейчас, при воспоминании, все заливается солнечным сиянием, а за полями зеленеют перелески. На церковной площади, над зеленым лугом, мерцают волны зноя. По обе стороны речки, со снежно-белым песком на берегах, круто поднимаются взгорья, а в обрывистых берегах, в камнях, звенят студёные роднички.

И вот мы с отцом и матерью отправились на заработки, на рыбные промыслы. Я был поражен и подавлен сказочным величием Саратова, Астрахани, необъятной шириной Волги. Вплоть до Астрахани я находился в волшебном мире пароходных машин, грохота, рева гудков и богатырской возни грузчиков. А пароходы и баржи на реке казались мне живыми и горячими.

На рыбных промыслах Каспия, среди песчаных барханов, мы с матерью прожили с год. Тут я впервые увидел, что такое безысходное рабство. Люди надрывались на работе с раннего утра до поздней ночи, по-

лучая гроши, да и те утекали в лавочку хозяина. Многие работали здесь по несколько лет, отрабатывая долги. Мать в штанах сидела на скамейке вместе с другой женщиной, лицом к лицу, и резала рыбу.

Весной мы возвратились в деревню.

А через год уехали уже на Кавказ — в станицу Прохладную, где отец работал на воскобойном заводе, а мать ходила на поденку.

Осенью опять вернулись в деревню из страха, что дед погонит нас по этапу и отца выпорют в волости.

В этот 1893 год в деревне открылась земская школа, и я попал во второе отделение. Летом разразилась холера. Это был так называемый «холерный год», когда эпидемия поразила чуть ли не всю страну. Заболела и мать. Ее спас от смерти студент-медик. Бабушка перенесла болезнь почему-то очень легко. Каждый день по улицам села несли гробы, и в церкви целые дни гудели похоронные перезвоны.

Осенью приехала учительница — Елена Григорьевна Парменионова, образованная девушка, из тех самоотверженных женщин, которые «ходили в народ». Это она открыла передо мной красоту художественного слова и новый чудесный мир человеческого творчества. Я и раньше покупал у тряпичников маленькие книжечки и читал их запоем. Знал я уже стихотворения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, рассказы Л. Толстого, Тургенева, Короленко, Г. Успенского, увлекался и лубочными книжками.

Я читал в моленной «часы» и считался грамотеем. В это время в наше село прислали православного попа — ренегата из старообрядцев. Он повел провокационную борьбу с поморцами, чтобы расправиться с раскольниками. Жертвой своей провокации он избрал меня: подговорил сынишку полицейского сотника написать на церкви похабные слова и заявить, что написал их я. После церковной службы поп с толпой молящихся подошел к нашей избе и приказал уряднику из волости арестовать меня. На съезжей этот урядник избил меня до потери сознания. Мы убежали с матерью к отцу, в Екатеринодар, где он в это время работал.

на паровой вальцевой мельнице. Полиция разыскивала меня, но я быстро научился надежно прятаться от нее.

В дни коронации, в 1896 году, меня амнистировали, и в полиции пристав сказал: «Молодец, что умел прятаться, — не попал к нам в лапы, а то мы бы тебя за милую душу водворили в колонию малолетних преступников».

Жили мы на Дубинке — в городском предместье — во дворе местного почетного мирового судьи Канивецкого, где обитали его престарелая мать и седовласая сестра — сердобольные барыни. Канивецкий печатал в «Областных ведомостях» веселые рассказы, похожие на анекдоты. Он покровительственно давал мне читать книги из своей огромной библиотеки.

Отец отдал меня «в люди» — «мальчиком» в мелочную лавку, но я скоро сбежал оттуда. Потом я попал «в ученье» в аптекарский магазин, но и отсюда убежал: не вынес побоев. Затем очутился в литографии, где в бензинных парах мыл литографские камни. Мать в это время работала прислугой у заведующего областной типографией. Он взял меня в типографские ученики. Месяца через два я набирал уже тексты объявлений, бланков и мелких заметок. Но, разбирая шрифт в кассах на земляном полу, заболел острым ревматизмом и слег в постель.

Тоска по деревне, по детской сельской свободе, по родным взгорьям, родничкам и солнцу, мальчишечья неволя в людях, муки за мать, которую продолжал истязать отец, постоянное ощущение, что я обречен жить безрадостно, без всякой надежды на лучшее будущее, что в жизни только одно страдание, рабство, жестокость — приводили меня в отчаянье. Я начал выражать свои переживания на бумаге. Рассказывал о моем житье в деревне, о рыбных ватагах, о радости возвращения домой. Потом написал целую толстую тетрадь — «Дневник мальчика».

Я показал свои труды сердобольным барыням, и они растрогались, заахали и передали мои тетрадки Канивецкому. Он иногда приезжал к матери и сестре «на хутор» отдохнуть. Как-то меня позвали к нему, и

он запросто сказал мне: «Тебе надо учиться. Пописывай — может быть, что-нибудь и выйдет».

Барыньки повезли меня в гимназию. Я хорошо сдал экзамен, но учиться не пришлось: для гимназии я был слишком беден. Тогда сам пошел в городское шестиклассное училище и поступил в третий класс.

После окончания училища и дополнительного педагогического класса получил звание учителя начального училища.

Свои стихи и рассказы никому не показывал. В них я изливал и скорбь, и озлобление, и жалобы, и мечты. Раздумья и чувства искали выхода, и мне было легче, когда я выкладывал на бумагу все, что накопилось в душе. Во время выпускного экзамена в 1900 году я отважился показать свой последний рассказ «К свету» учителю, и он неожиданно для меня похвалил его и посоветовал отнести редактору неофициальной части газеты «Кубанские областные ведомости» Л. М. Мельникову.

Встретил меня в редакции высокий коренастый человек, с большой головой, очень широким и высоким лбом, с черной бородой и очень маленьким носиком. Что-то в нем было и смешное и очень привлекательное. Принял он меня весело и радушно, рукопись взял и при мне же перелистал ее, потом горячо крикнул с пискливым шипеньем (у него была хроническая болезнь горла): «Ну, милый юноша! Рассказ я на днях напечатаю. Но работать, работать вам надо: еще первые шажки. Приносите ваши рукописи — буду помогать!» Этот замечательный человек был самым близким моим другом до самой его смерти.

В «Областных ведомостях» он напечатал потом и другие рассказы («После работы», «Максютка», «Черкесенок», «Маленький горец», «У ворот тюрьмы»). В 1901 году я послал М. Горькому в Крым повесть «На ватаге, на Жилой». Он возвратил мне рукопись с припиской: «Писать Вам нужно. У Вас есть умение наблюдать жизнь, есть любовь к людям. Надо только писать кратко и метко, — так, чтобы читателя точно палкой по башке. Исправьте рукопись сообразно с пометками на полях и пришлите мне: я напечатаю ее

в «Мире божьем». Рассказ, к сожалению, не был напечатан и исчез навсегда. Я спрашивал себя не раз, почему он написал мне такие волнующие слова? Несомненно, это был свойственный ему педагогический прием — ободрить начинающего юнца, укрепить в нем веру в свои силы, толкнуть его на борьбу, разжечь в нем на долгие годы мечту о счастье, заставить дерзать и добиваться цели.

В 1902 году, чтобы вылечиться от лихорадки, я уехал в Забайкалье учительствовать. Прожил в захолустном поселке Ундинском учебный год, потом перевелся в другую школу при железной дороге около Сретенска (в поселке Кокуй). Здесь, в читинской газете «Забайкалье», я стал печататься непрерывно. Через эту газету прошел цикл рассказов «На каторге» и ряд других рассказов и очерков. Один из рассказов — «Беспокойный» — был принят в «Журнал для всех», но не увидел света: журнал закрылся.

Эти юношеские рассказы, еще художественно незрелые, и по сей день дороги мне: в них выразилось мое страстное стремление к правде и справедливости, к борьбе против рабства и черносотенной тирании.

Уже в те юные годы я испытал на своей шкуре все мерзости и кровавые жестокости капиталистической эксплуатации и полицейского режима. Суровая школа жизни воспитала во мне крепкую волю к знанию и жгучий гнев против угнетателей. Тогда же я впервые почувствовал гордость от сознания, что я принадлежу к рабочему классу, что только рабочий класс — единственно революционный класс, что только он готовит революционную бурю и решит судьбу России. Уже тогда были у меня хорошие руководители — сознательные рабочие, интеллигенция и студенты, связанные с пролетариатом. Я учился, много читал, много мучился над «проклятыми вопросами». И мне хотелось выразить в рассказах, в очерках все, что накопилось в душе. Годы подневольного труда, эксплуатации, бесправия, издевательств над человеческой личностью озлобляли людей, разжигали гнев, и они уже хорошо знали, кто их враг и кто их друг. Но еще не организованные, предоставленные самим себе, рабочие бунто-

вали в одиночку и часто опускались на дно. Об этом еще неумелой рукой и написаны были мои первые рассказы. Мой «добрый гений» и литературный вожатый Лука Мартынович Мельников как-то сказал мне: «Вы на верном пути, юноша. Чтобы не сбиться с него, держитесь как можно левее. У вас хорошая рабочая закваска, и вы добьетесь своего, только духа не угашайте».

Это были годы сипягинской и победоносцевской реакции. «Цензурная вьюга» свирепствовала вовсю. Я писал о рабочих, об угнетенных и бесправных людях, и этого было достаточно, чтобы вытравить из моих писаний дух протеста и мечту о свободе. Они беспощадно сокращались, а некоторые страницы «смягчались» и даже писались рукой редактора.

Такая судьба постигла рассказы и очерки, которые печатались в газете «Забайкалье». Редактор этой газеты писал мне: «Ваши рассказы литературны, новы, чувствуется в них свободное дыхание, бодрость, сила правды, и я печатал их с удовольствием». Однако их уродовали тяжелые руки цензора и того же редактора: они выходили из рамок «дозволенного начальством». Написанные мною в годы японской войны рассказы о женской каторге подвергались особенно яростной цензурной расправе. Не только вычеркивались отдельные абзацы и страницы, но и заменялись одни фигуры другими. Такую «чистку» весьма сильно испытали на себе рассказы: «Последние из разгильдеевцев», «Бродяга», «Не в тюрьме, не на воле» («Среди вольной команды») и «Три в одной землянке». Рассказ же «Малютка в каторжных стенах» не был напечатан — зарезан полицейской цензурой.

В нашей художественной литературе не была показана женская каторга, и я считал, что сделал первый почин в обрисовке характеров каторжниц — женщин, которых загнал в далекую Сибирь царский суд.

Впоследствии я отобрал из всего написанного в те годы наиболее типичное для моего литературного и революционного развития и постарался «оживить» рассказы, воплотить в них тот пафос, который гасили царские охранители «порядка и благочиния» Без этой

реставрационной и творческой работы рассказы эти теряли и художественную и идейную значимость.

В 1905 году я уехал в Тифлис — учиться в учительском институте. Революцию встретил в Грузии. Еще за год до этого я связался с читинскими большевиками и выполнял их поручения по распространению прокламаций и нелегальной литературы. В Тифлисе я вошел в социал-демократический кружок учительского института и близко сошелся с известным на Кавказе большевиком Ильей Санжуром, с которым весной 1906 года уехал в Ейск на партийную работу. В августе успели избежать ареста — спешно выехали из Ейска: Санжур — в Ставрополь, а я — в Забайкалье.

В Сретенске вместе с членом читинского ПК, Моисеем Губельманом, Иваном Бутиным, расстрелянным впоследствии семеновцами, и учителем Подсосовым был организатором большевистской группы. Работа велась нами среди приказчиков, железнодорожников и грузчиков на пристани.

Осенью 1906 года был арестован первым из группы (кстати, меня в то время разыскивала охранка) и отправлен в иркутский централ. Пребывание в этой тюрьме, через которую прошли Чернышевский, поэт Михайлов, Короленко, было для меня настоящим университетом. Там происходили ожесточенные дискуссии между марксистами и эсерами. Этот тюремный период изображен мною в повести «Старая секретная». Весной 1907 года я был отправлен на место ссылки — в Манзурку, недалеко от Верхоленска, где провел больше трех лет. Там написаны мною рассказы «Удар» и «В арестантском вагоне» и начата повесть «В изгнании» («Изгой»). Одна из иркутских газет отказалась печатать рассказ «Удар», как нецензурный, а читинская «Новая газета» хоть и приняла его, но прочитала очень основательно (это было время военного положения в Восточной Сибири и диктатуры Рененкампа). От большой же повести «Изгой» после неоднократных цензурных выжимок осталось лишь несколько отрывков. Принятая сначала в «Заветы», а потом в «Современник», она не появилась в печати, так как журналы один за другим были закрыты.

В 1910 году я освободился из ссылки и поселился в Новороссийске. Здесь служил конторщиком в мучном магазине, давал уроки, учительствовал в частной прогимназии, а потом приглашен был преподавателем в городское четырехклассное училище (переименованное потом в Высшее начальное училище).

В начале первой империалистической войны был назначен инспектором вновь открытого Высшего начального училища в большой кубанской станице и работал там до весны 1918 года. Здесь написан рассказ «Единородный сын», напечатанный Горьким в «Летописи», и вчерне набросана «Старая секретная», к которой я возвратился только в 1925—1926 годах.

С самого начала февральской революции активно принимал участие в Совете рабочих, солдатских и казачьих депутатов, был одним из организаторов советской власти в станице, избран был комиссаром просвещения, проводил учительский съезд с А. Хмельницким, виднейшим большевиком, который потом работал в Москве по составлению свода советских законов. Краснодарским наркоматом по просвещению я командирован был в Новороссийск для проведения реформы школы. В августе Новороссийск внезапно заняли денкинцы. Все члены совнаркома были схвачены, а партийные работники ушли в подполье. Я с некоторыми товарищами скрывался в рабочем поселке цементного завода «Пролетарий» и с первых же дней включился в революционную работу среди солдат, между которыми оказались знакомые фронтовики из кубанской станицы, настроенные по-большевистски; потом связался с красно-зелеными с помощью подпольной, организованной мною, группы учащейся молодежи. Тогда же я получил известие, что кубанское войсковое правительство постановило объявить меня вне закона, и был предупрежден товарищами о соблюдении строгой конспирации. С приходом Красной Армии выполнял ответственную партийную и советскую работу.

В августе 1920 года пошел добровольцем в Красную Армию против десанта Врангеля и работал потом в политотделе 14-й бригады IX армии. Зимой был отозван окружкомом и назначен редактором газеты

«Красное Черноморье», избран в члены окружкома и потом назначен заведующим отделом народного образования. Прикреплен был к партячейке цементного завода, где мне приходилось принимать самое непосредственное участие в организационных делах по восстановлению завода. Среди напряженной партийно-советской работы написал рассказ «Зеленя» («Волки»).

Осенью 1921 года с помощью Горького выехал в Москву, где работал сначала по народному образованию, а потом секретарем редакции вновь открытого журнала «Новый мир». С 1923 года стал литератором-профессионалом.

В 1922—1923 годах напечатаны рассказы: «Зеленя», «Изгой» и пьеса «Ватага», а в 1924 году закончил роман «Цемент», который начал печататься в январской книжке «Красная новь» в 1925 году.

«Цемент» писался по ночам в неприютной, холодной, похожей на одиночку подвальной комнатушке на Смоленском бульваре.

Летом 1927 года поехал на Днепрострой, где жил наездами до пуска электростанции в 1932 году. В «Известиях» печатал очерки о ходе стройки, а в 1933 году выпустил первый том «Энергии», через шесть лет — второй. В результате поездки по Запорожской области написал повесть «Новая земля» о людях социалистического земледельческого труда.

Ранее написанные повести «Огненный конь» и «Пьяное солнце» считаю порочными и чуждыми мне по духу и по форме и отвергаю их.

В 1941 году напечатал в «Новом мире» повесть «Березовая роща». Эта поэма о лесе и преобразовании природы — одно из самых дорогих мне произведений.

Во время Великой Отечественной войны писал много как публицист. Корреспондировал с уральских оборонных заводов в «Известиях». За эти годы написал две книги под общим заглавием «Опаленная душа» и «Клятва». Очерки о Днепрострое и о новаторах производства на Урале изданы отдельными книжками. В 1945 году назначен был директором Литературного института им. Горького. Эта работа оторвала меня от

писательского стола на три года. Работая в институте, утвержден был Всесоюзной аттестационной комиссией в звании профессора.

«За выдающиеся заслуги в области литературы» награжден был в 1939 году орденом Ленина, в 1943 году в связи с 60-летием — орденом Трудового Красного Знамени, а в 1953 году — вторым орденом Ленина в связи с 70-летием.

В 1950 году мне присуждена была Сталинская премия второй степени за «Повесть о детстве», а в 1951 году — Сталинская премия первой степени за «Вольницу».

Книги мои переведены на все западные языки, а «Цемент» — на все языки мира. Летом в 1946 году был в Болгарии и Югославии и пережил истинное счастье: я узнал там, что мои книги помогали борьбе с фашизмом. Свою популярность среди широких народных масс этих стран я воспринял как признание того, что и я — участник их революционной борьбы.

Федор Гладков

